

**НОВАЯ И  
НОВЕЙШАЯ  
ИСТОРИЯ**

**3**

МАЙ — ИЮНЬ

**1987**

ЖУРНАЛ

ОСНОВАН В 1957 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

**СОДЕРЖАНИЕ**

**НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ**

- Петровский В. Ф. Ленинская стратегия мира на современном этапе 3  
Фирсов Ф. И. Великий Октябрь, Ленин и образование Коммунистической партии Чехословакии . . . . . 24

**СТАТЬИ**

- Академик Нарочницкий А. Л. Австрия между Францией и Россией в 1811—1813 гг. и русская дипломатия . . . . . 39  
Антосяк А. В. Румынские добровольческие воинские формирования в СССР в годы войны . . . . . 51  
Фурсенко А. А. (Ленинград). Нефть и политика: история и современность . . . . . 69  
Могильницкий Б. Г., Мучник В. М., Николаева И. Ю. (Томск). «Возрождение нарратива»: о новейшей тенденции в развитии буржуазной исторической мысли . . . . . 87

**НЕМЕРКНУЩИЕ ОБРАЗЫ ПРОЛЕТАРСКИХ БОРЦОВ**

- Бирман М. А. Георгий Кирков (1867—1919 гг.). Страницы жизни и деятельности болгарского революционера . . . . . 106

**ВОСПОМИНАНИЯ**

- Коваль К. И. На посту заместителя главноначальствующего СВАГ 130

**ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ**

- Дьяков В. А. Некоторые теоретико-методологические вопросы истории революционного демократизма XIX и XX вв. . . . . 149

**ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ**

- Орлов А. С. Дьенский рейд в 1942 г. и проблема второго фронта . . 163

**ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ В ВУЗАХ**

- Галкин И. С. О перестройке преподавания истории в высшей школе 171



Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ, В. М. МУЧНИК, И. Ю. НИКОЛАЕВА

## «ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРРАТИВА»: О НОВЕЙШЕЙ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

В пестрой картине теоретико-методологических исканий современной буржуазной историографии все более заметное место занимает явление, именуемое в литературе как «возрождение нарратива» (от латинского *narratio* — рассказ, повествование), т. е. повествовательная, событийная история. Хотя это наименование в известной мере условно, оно тем не менее отражает тенденцию в развитии новейшей буржуазной исторической мысли, до настоящего времени не привлекавшую специального внимания советских ученых. Между тем речь идет о явлении, которое в последние десятилетия оказалось предметом острых дискуссий в западной историографии, в значительной мере определяя ее нынешний облик. Своеобразным показателем возрастающего значения проблемы нарратива стало ее оживленное обсуждение в Комиссии по истории исторической науки, проходившее в рамках XVI Международного конгресса исторических наук<sup>1</sup>.

Настоятельная задача историков-марксистов заключается в изучении этой тенденции, выяснении ее социальной природы и направленности, как и ее общего места в развитии современной буржуазной исторической мысли. Не претендуя на всестороннее решение этой задачи в рамках настоящей статьи, ее авторы ставят своей целью дать общую характеристику «возрождения нарратива» как своеобразного ответа на модернизацию теоретико-методологических основ буржуазной историографии, проходившую на протяжении 60—70-х годов под флагом так называемой «новой научной истории».

Как уже отмечалось в советской исторической литературе<sup>2</sup>, широко-вещательные претензии адептов «новой научной истории» в США, «новой

<sup>1</sup> См. *Тихвинский С. Л., Тишков В. А.* XVI Международный конгресс исторических наук. — Вопросы истории, 1986, № 1, с. 17—18.

<sup>2</sup> См. *Гаджиев К. С., Сивачев Н. В.* Проблемы междисциплинарного подхода и «новой научной» истории в современной американской буржуазной историографии. — Вопросы методологии и истории исторической науки, вып. 2. М., 1978; *Соколова М. Н.* Современная французская историография. М., 1979; *Афанасьев Ю. Н.* Историзм против эклектики. М., 1980; *его же.* Эволюция теоретических основ школы «Анналов». — Вопросы истории, 1981, № 9; *его же.* Вчера и сегодня французской «новой исторической науки». — Вопросы истории, 1984, № 8; *его же.* Фернан Бродель и его видение истории. — Новая и новейшая история, 1985, № 5; *Далин В. М.* Историки Франции XIX—XX веков. М., 1981; *Рахмиров П. Ю.* Современная буржуазная историография о генезисе фашизма. — Новая и новейшая история, 1982, № 3, с. 33—49; *Согрин В. В.* Современная буржуазная историография о буржуазных революциях в США. — Новая и новейшая история, 1982, № 1, с. 20—38; *Ковальченко И. Д., Тишков В. А.* Итоги и перспективы применения количественных методов в советской и американской историографии. — В кн.: Количественные методы в советской и американской историографии.

истории» во Франции и их аналогов в других западных странах на радикальную модернизацию своей дисциплины путем заимствования методов естественных и социальных наук не только не достигли своей цели, но и породили ряд негативных явлений. Среди них отметим антиисторизм, особенно характерный для таких процветающих ветвей «новой научной истории», как клиометрия и психоистория, чрезмерную специализацию, усугубляющуюся враждой между традиционными и «новыми» историками, и, наконец, опасность превращения истории в эзотерическую дисциплину, доступную для немногих избранных.

Вследствие этого совершавшаяся под флагом модернизации теоретико-методологических основ буржуазной историографии ее сциентизация (от английского science — наука) не только не решила своей главной стратегической задачи, заключающейся в существенном повышении социального статуса дисциплины, но еще более усугубила стоящие на этом пути трудности. Знаменательно, что именно в США, стране, где «новая научная история» получила особенно широкое распространение, как раз на время ее триумфального марша приходится пик жалоб на падение социальной значимости исторической науки. «Дисциплина в кризисе», — провозглашает крупнейший американский историк, профессор Гарвардского университета О. Хэндлин, подчеркивая падение престижа изучения прошлого вследствие его неспособности быть полезным для настоящего и выражая в связи с этим разочарование результатами, полученными «новыми научными историками»<sup>3</sup>. Об утрате историей своего влияния и настойчиво звучащих сомнениях в ее полезности и соответствии ее способа поиска истины нашему веку пишет автор обобщающего исследования по истории исторической науки Э. Брейзах, указывая в качестве причины этого на ее неспособность сделать знание прошлого эффективным средством решения проблем настоящего<sup>4</sup>. Еще далее идет другой американский историк, К. Соннишен, утверждая, что «профессиональные историки с их расхождениями по многим вопросам согласны в главном — их дисциплина больна, возможно, находится при смерти», поскольку ведущие историки «покидают оживленный мир, чтобы общаться с себе подобными только на диалекте своей узкой специализации»<sup>5</sup>.

Не умножая подобных высказываний, заметим, что при некоторых содержащихся в них преувеличениях в целом они основываются на достаточно объективной оценке нынешнего состояния американской профессиональной историографии. Как свидетельствует американская статистика, начиная с 1974 г. неуклонно уменьшается процент историков — докторов наук по отношению ко всем общественно-научным профессиям (в 1982 г. всего 7% по сравнению с 11,5% в 1972 г.). Существенно сократилось количество историков и в абсолютных цифрах, и в то же время в их рядах значительно выросла безработица. В начале 80-х годов только немногим более половины историков — обладателей докторской степени имели постоянную работу, а более трети были фактически безработными (34,1% в 1982 г. против 13,6% в 1970 г.)<sup>6</sup>. Действительно, приходится соглашаться с Хэндлином,

М., 1983; Ковальченко И. Д. О моделировании исторических явлений и процессов. — Там же; Могильницкий Б. Г., Николаева И. Ю., Гульбин Г. К. Американская буржуазная «психоистория». Томск, 1985; Севостьянов Г. Н., Чубарьян А. О. Проблемы новой и новейшей истории на XVI Международном конгрессе исторических наук в Штутгарте. — Новая и новейшая история, 1986, № 2, с. 3—16.

<sup>3</sup> Handlin O. Truth in History. Cambridge (Mass.), 1979, p. VII—VIII, 8—11.

<sup>4</sup> Breisach E. Historiography: Ancient, Medieval, Modern. Chicago, 1983, p. 405—406.

<sup>5</sup> Sonnichen C. L. The Ambidextrous Historian. Oklachoma, 1980, p. 3—4.

<sup>6</sup> См. Тишков В. А. История и историки в США. М., 1985, с. 55, 62.

когда он констатирует «печальное и жалкое зрелище, которое представляет собой профессия историка»<sup>7</sup>.

Схожие явления, пусть и не в столь явно выраженной форме, присутствуют и в других западных историографиях. Даже в ФРГ, где в последнее время произошла известная стабилизация в положении исторической науки, сопровождающаяся повышением ее социальной значимости, не прекращаются «всеобщие жалобы на отчуждение исторической науки от публики»<sup>8</sup>.

Наконец, далеко не последней по своему значению причиной анти-сциентистской реакции в западной историографии стало общее нарастание консервативных тенденций в современном буржуазном историческом мышлении. Подобно тому, как в настоящее время «в политической области для империализма характерна тенденция к усилению реакции по всем направлениям»<sup>9</sup>, так и в сфере буржуазной идеологии ведущее положение занимают наиболее консервативные ее разновидности. Показательно, что уже сциентизация буржуазной историографии в ряде случаев сопровождалась ее определенным поправением<sup>10</sup>, и это на примере эволюции весьма влиятельной на Западе школы «Анналов» доказали советские историки<sup>11</sup>. Сегодня же для многих западных авторов оказывается неприемлемой сама идея научности истории. В наиболее резкой форме это неприятие выразил профессор Ганноверского университета О. Эксле, утверждающий, что XIX в. с его позитивистскими претензиями на научность и объективность исторического знания — лишь «особый случай» в общей истории исторической мысли, которая в настоящее время возвращается на свой магистральный путь исторического релятивизма<sup>12</sup>. Вновь широкое распространение получает исторический субъективизм<sup>13</sup>.

Разумеется, указанными явлениями не исчерпывается все содержание идейно-теоретических представлений, бытующих в современной немарксистской историографии. В реальной историографической действительности дело обстоит гораздо сложнее. Наряду с историками, придерживающимися реакционных и консервативных взглядов, в каждой западной историографии имеются и прогрессивные ученые. Применительно к США это хорошо показал В. А. Тишков. Вместе с тем он констатировал, что

<sup>7</sup> Handlin O. Op. cit., p. 158.

<sup>8</sup> Rüsen J. Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft. Skizze zum historischen Hintergrund der gegenwärtigen Diskussion.— In: Formen der Geschichtsschreibung. München, 1982, S. 33.

<sup>9</sup> Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986, с. 131.

<sup>10</sup> Известное исключение составляла ФРГ, где сложившееся в 70-е годы социально-структурное направление, являющееся своеобразным аналогом «новой научной истории», заняло место на левом фланге западногерманской буржуазной историографии (см. Данилов А. И. Проблема континуитета в историографии ФРГ.— Вопросы истории, 1981, № 3). Однако уже в начале 80-х годов ведущие представители этого направления, включая Г.-У. Велера и Ю. Кокку, заметно эволюционировали вправо, интегрируясь в общее русло так называемого неонисторизма. Не случайно в одном из ведущих западногерманских исторических журналов с нескрываемым удовлетворением констатируется складывающийся в новейшей историографии ФРГ на неонистористской основе консенсус по вопросам о «задачах, функции и цели исторической науки». — Weimar E. Dimensionen der Geschichtswissenschaft.— Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 1982, H. 1, S. 1.

<sup>11</sup> См. указанные выше работы Ю. Н. Афанасьева, В. М. Далина и М. Н. Соколовой.

<sup>12</sup> Oexle O. G. Die Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus.— Historische Zeitschrift, Bd. 238, 1984, H. 1.

<sup>13</sup> См. Кукина А. Е. В плену субъективизма: о методологических тенденциях в современной буржуазной историографии США.— Новая и новейшая история, 1986, № 3.

«таких ученых, к сожалению, не так уж много и не они задают тон в исторической профессии»<sup>14</sup>. Вывод советского исследователя о том, что общий сдвиг социального климата вправо вызвал известную активизацию консервативных элементов в американской исторической науке, мы можем отнести и к оценке современного состояния всей западной историографии.

Такова в своих существенных чертах современная историографическая ситуация на Западе, в которой происходит поворот значительной части буржуазной исторической мысли к нарративу. Будучи закономерной реакцией на «крайности» сциентизации буржуазной историографии, выразившиеся в дегуманизации истории, вытеснении из нее изображения деятельности людей построением абстрактных социологических схем и математических моделей, он прямо связан с усилиями повысить социальный статус исторической науки, усилить возможности ее непосредственного воздействия на широкие массы.

Обращаясь непосредственно к критическому анализу этой новейшей тенденции в развитии буржуазной исторической мысли, отметим, что само понятие «возрождение нарратива» активно вошло в научный оборот благодаря Л. Стоуну<sup>15</sup>, который не только впервые сформулировал его, но и попытался обстоятельно осветить причины, вызвавшие его к жизни<sup>16</sup>. Но, конечно, само явление, обозначаемое этим понятием, возникло ранее. Уже в 1970 г. видный английский историк Дж. Элтон в полемике с адептами «новой научной истории» утверждал, что «чем бы ни занималась история, она должна быть в сущности рассказом, рассказом об изменяющихся судьбах людей»<sup>17</sup>. Другой английский автор, А. Марвик, констатируя определенное разочарование британских историков в возможностях социологизированной истории, пронизательно подметил поворот «к тому роду истории, который характеризуется тесной близостью с литературой»<sup>18</sup>. Американский философ Х. Файн, критикуя неопозитивистский подход к истории, доказывал, что «проблема состоит не в замене описания статистическими или другими законами, а в выработке критериев для отбора фактов и событий, чтобы обеспечить связность повествования» и подчеркивал, что «главная цель нарративной истории» заключается в том, чтобы «проследить генетическую связь между историческими событиями»<sup>19</sup>.

В особенности показательны перемены, совершавшиеся в этом отношении во французской историографии. Как известно, здесь в рамках школы «Анналов» раньше, чем где бы то ни было на Западе, утвердилось противопоставление структурной (серийной) истории и истории событийной, которая третируется как безнадежно устаревшая и ненаучная. Здесь наиболее категорично заявлялось, что недалекое будущее исторической науки заключается в ее полной и всесторонней математизации, когда (по убеждению крупнейшего представителя обновленных «Анналов» Э. Ле Руа Ладюри — уже в 80-е годы!) «историк будет программистом,

<sup>14</sup> Тишков В. А. Указ. соч., с. 349.

<sup>15</sup> Лоуренс Стоун (род. в 1919 г.) — один из флагманов англо-американской историографии, известный своими исследованиями по социально-экономической истории раннего нового времени. Долгое время жил в Англии. В последние годы — профессор Принстонского университета (США).

<sup>16</sup> Stone L. The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History. — Past and Present, v. 85, 1979, № 1; в дальнейшем цит. по: Stone L. The Past and the Present. Boston — London — Henley, 1981.

<sup>17</sup> Elton G. Political History. Principles and Practice. New York, 1970, p. 5.

<sup>18</sup> Marwick A. The Nature of History. New York, 1971, p. 266.

<sup>19</sup> Fain H. History as Science. — History and Theory, v. 9, 1970, № 2, p. 156, 167.

или он не будет никем»<sup>20</sup>. Тем разительнее поворот к недавно столь презираемой событийной истории, который ведущие анналисты начинают делать уже в середине 70-х годов, причем отнюдь не только в сфере теории. Тот же Ле Руа Ладюри, безапелляционно заявлявший, что нарративная история событий осуждена на смерть<sup>21</sup>, стал автором монографий, посвященных детализированному описанию единичных событий, происходивших в средневековой французской деревне<sup>22</sup> и городе<sup>23</sup>.

Таким образом, статья Стоуна зафиксировала определенную тенденцию в развитии современной буржуазной исторической науки, что и определяет ее историографическое значение. Не удивительно, что она вызвала многочисленные отклики. Хотя в некоторых из них содержались достаточно острые критические замечания<sup>24</sup>, вплоть до отрицания общего вывода о «возрождении нарратива»<sup>25</sup>, в целом вызванная этой статьей полемика, во-первых, недвусмысленно показала, что существует сама проблема нарратива, а во-вторых, во многом способствовала возрастанию в западной историографии интереса к ней.

Итогом стала своего рода реабилитация нарратива как специфической формы изображения истории. Он вновь стал рассматриваться, по образному выражению канадского ученого М. Филлипса, как «пропуск в сообщество историков»<sup>26</sup>. По-видимому, с этим сегодня согласны даже приверженцы школы «Анналов». Хотя по традиции чистый нарратив квалифицируется здесь как «ленивый способ историописания», основные методологические достоинства школы усматриваются ими в том, что она «одновременно и концептуальна, и нарративна, занимается индивидами и ищет законы»<sup>27</sup>. «В настоящее время мы можем констатировать знаменательное движение маятника к нарративной форме историописания», — отмечает видный западногерманский ученый В. Моммзен, указывая на «охвативший весь мир ренессанс повествующей формы исторического изображения»<sup>28</sup>. Сейчас нет практически ни одной отрасли исторического знания, которую бы не затронул этот «ренессанс». «Даже в экономической истории, — пишет современный американский автор, — наши лучшие надежды связаны с нарративом и объяснением индивидуального прошлого»<sup>29</sup>.

Речь, следовательно, идет о существенном историографическом явлении, заслуживающем самого пристального внимания, ибо оно выражает новейшую тенденцию в развитии буржуазной исторической мысли. Сразу же подчеркнем его неоднозначность. Сама по себе проблема нарратива не надуманна. В ходе ее обсуждения в западной науке были

<sup>20</sup> *Le Roy Ladurie E.* Le territoire de l'historien, v. 1. Paris, 1973. p. 14.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 111.

<sup>22</sup> *Le Roy Ladurie E.* Montailou. Village occitan de 1294 à 1324. Paris, 1975.

<sup>23</sup> *Le Roy, Ladurie E.* Le Carneval de Romans. De la Chandeleur au mercredi des Cendres, 1579—1580. Paris, 1979.

<sup>24</sup> *Bossy J.* History as Narrative Countering the Computer. — Encounter, v. 57, 1981, № 6; *Tilly Ch.* As Sociology Meets History. New York, 1981, p. 37. См. также рецензию И. Кларка на книгу Стоуна «Прошлое и настоящее». — The Journal of Modern History, v. 55, 1983, № 3.

<sup>25</sup> *Hobsbaum E.* The Revival of Narrative: Some Comments. — Past and Present, v. 86, 1980, № 1.

<sup>26</sup> *Phillips M.* The Revival of Narrative: Thoughts on a Current Historiographical Debate. — University of Toronto Quarterly, v. 53, 1983, № 2, p. 153.

<sup>27</sup> *Furet F.* Beyond the Annales. — The Journal of Modern History, v. 55, 1983, p. 391.

<sup>28</sup> *Mommsen W. J.* Die Sprache des Historikers. — Historische Zeitschrift, Bd. 238, 1984, H. 1, S. 60—61.

<sup>29</sup> *Supple B.* Old Problems and New Directions. — The Journal of Interdisciplinary History, v. XII, 1981, № 2, p. 205.

поставлены действительно важные вопросы, имеющие несомненное научное значение. В первую очередь это относится к подчеркиванию эстетической стороны исторического познания. В совершающейся в рамках «возрождения нарратива» своеобразной эстетизации истории проявляется здоровая реакция на отмеченные выше негативные явления, связанные с активным вторжением «новой научной истории».

Отметим, что рассматриваемая проблема не лишена актуальности и для марксистской исторической науки. Нельзя не согласиться с А. В. Гулыгой, когда он пишет, что «у нас в значительной степени утеряна традиция живого, увлекательного исторического описания», и указывает на необходимость «возрождения истории как жанра словесности»<sup>30</sup>. О недопустимости недооценки событийной истории пишет А. И. Данилов, отмечавший, что «исторический мир — мир событий. Там, где их нет, нет изменения, движения, развития, а следовательно, и истории как действительности»<sup>31</sup>.

Обращение к систематическому изучению природы нарратива подчеркивает тот бесспорный, но нередко забываемый факт, что историческое повествование (нарратив) составляет существенный элемент исторического познания. Без него невозможно никакое связанное систематическое изображение человеческого прошлого и тем более осуществление исторической наукой своей воспитательной функции. Ведь только яркий рассказ о прошлом способен оживить его, сделать его уроки широким общественным достоянием.

В этой связи уместно напомнить, что именно такой характер носят труды основоположников научного коммунизма. Известная Марксова формула — история есть «не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека»<sup>32</sup> прямо предполагает необходимость исторического повествования как наиболее адекватной формы отражения этой деятельности. Образцом тому служат «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Крестьянская война в Германии» и другие исторические произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, где глубина научного анализа исторического процесса органически сочетается с ярким рассказом о конкретных событиях, его составляющих.

Указывая на позитивные моменты, присутствующие в призывах к «возрождению нарратива», заметим вместе с тем, что сами эти призывы не следует понимать чересчур буквально. В действительности речь скорее идет не о возвращении к традиционному в буржуазной историографии эмпирическому повествованию, а о «новом нарративе», чьей отличительной чертой является аналитичность. Лишь в редких случаях сегодня можно встретить утверждения, подобные тому, которое принадлежит известному западногерманскому историку Г. Манну: «Я не верю в то, что история нуждается в теории. История — искусство, основанное на знании, и ничто другое»<sup>33</sup>. Более распространенным и, конечно, перспективным является стремление обосновать такую форму историописания, которая бы сочетала теорию (анализ) и повествование (рассказ). Как подчеркивает западногерманский методолог И. Рюзен, «без теории нет истории». Признавая, что рассказ — наиболее адекватная форма историописания, он в то же

<sup>30</sup> Гулыга А. В. Искусство истории. М., 1980, с. 5.

<sup>31</sup> Данилов А. И. Историческое событие и историческая наука.— Средние века, вып. 43. М., 1980, с. 16.

<sup>32</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 102.

<sup>33</sup> Mann G. Plädoyer für die historische Erzählung.— In: Theorie und Erzählung in der Geschichte. München, 1979, S. 53.

время указывает, что теория лежит в основе всякой нарративной конструкции<sup>34</sup>.

Соответственно этому анализ провозглашается необходимым элементом описания (повествования). Отсюда и нарратив определяется следующим образом: «история, часто с описанием как простым видом «почти анализа», но иногда — с внушительным объемом глубокого анализа»<sup>35</sup>. Еще более определенно высказывается профессор Йельского университета (США) П. Гэй, заявляя, что «исторический нарратив без анализа тривиален, исторический анализ без нарратива несовершенен»<sup>36</sup>. С другой стороны, само повествование сегодня выглядит по-иному, чем век или даже полвека назад. Оно включает достижения последнего времени, связанные с применением методов социальных и естественных наук. Поэтому нарратив иногда представляется как синтетическая форма, интегрирующая все возможности, которыми располагает современная историческая наука, и в этом своем качестве являющаяся ее идеальным типом. «Величайшим требованием, которое встанет перед историками в грядущие годы, — писал один из влиятельнейших современных американских историков Б. Бейлин, — будет не то, как углубить и усложнить технику исследования, хотя этот аспект всегда будет сохранять свое значение, но как вновь соединить историю — теперь уже со сложностью и аналитическим объемом, невиданным доселе, как превратить имеющуюся в распоряжении историков информацию, количественную и качественную, статистическую и литературную, визуальную и устную, в волнующий рассказ о событиях»<sup>37</sup>.

Таким образом, поворот буржуазной исторической мысли к нарративу — отнюдь не простое отрицание ее сциентистской традиции. Тем более, что он, во всяком случае в своей значительной части, совершается в рамках самой «новой научной истории», а его провозвестниками нередко являются ученые, внесшие, подобно Стоуну, немалый вклад в ее развитие. Напомним в этой связи тот многозначительный факт, что статья Стоуна «Возрождение нарратива», констатирующая кризис сциентизированной историографии, впервые была опубликована в английском журнале «Паст энд презент» — одном из наиболее авторитетных на Западе органов «новой научной истории», много сделавшем для распространения ее основных положений. Решительное осуждение многими западными авторами «крайностей» теоретико-методологической модернизации своей дисциплины сочетается с усвоением ее определенных результатов, а также с своеобразной сциентистской рефлексией.

Особенно заметно она проявляется в дискуссии о природе нарратива, причудливым образом внося в антисциентистскую реакцию ощутимый сциентистский оттенок. Этот оттенок присутствует уже в самой постановке проблемы историописания как теоретической проблемы исторической науки, доминирующей в дискуссии. Ниже мы попытаемся проследить основные подходы к ее решению, что позволит не только конкретизировать реальное содержание, вкладываемое на Западе в понятие «возрождение нарратива», но и понять, так сказать, изнутри мотивы, обусловившие ее необычайную актуализацию.

<sup>34</sup> *Rüsen J.* Wie kann man Geschichte vernünftig schreiben? — Theorie und Erzählung in der Geschichte, S. 328.

<sup>35</sup> *Shafer R.* A Guide to Historical Method. Homewood, 1980, p. 11.

<sup>36</sup> *Gay P.* Style in History. New York, 1974, p. 189.

<sup>37</sup> *Bailyn B.* The Challenge of Modern Historiography. — The American Historical Review, v. 87, 1982, № 1, p. 24.

В этом отношении несомненный интерес представляет ход рассуждений Й. Рюзена, предложившего одну из наиболее основательных в западной науке формулировок проблемы нарратива. Отмечая, что историописание возникло и развивалось как ветвь риторики и лишь в XIX в. вследствие сциентизации исторического мышления вышло из-под ее компетенции, Рюзен подчеркивает, что в 70-е годы нашего столетия в дискуссии о теории и рассказе произошло новое открытие нарратива как главной проблемы исторической науки<sup>38</sup>.

Почему же это случилось именно в 70-е годы? Ответ Рюзена представляется поучительным для понимания глубинных истоков обращения современной буржуазной исторической науки к нарративу. Он прямо связывает это обращение с негативными для исторической науки последствиями ее сциентизации: курс на сближение истории с социальными науками поставил под вопрос ее самостоятельность, а следовательно, и право на существование в ряду других наук, ибо оказался неопределенно-расплывчатым сам конституирующий признак, отличающий сциентизированную историографию от других общественных наук. Вот почему, подчеркивает Рюзен, «в целях самосохранения исторической науки как дисциплины стало необходимым найти критерий, с помощью которого можно будет четко определить ее своеобразие и ее задачи в контексте других наук». Таким критерием и оказалась «нарративная структура исторических суждений». И далее он утверждает, что именно в рассказе история реализует свое своеобразие как наука<sup>39</sup>.

Словно продолжая эту мысль, В. Моммзен разъясняет, почему именно рассказ (повествование) выдвигается сегодня в качестве главной формы исторического изображения: «Новое открытие истории широкой публикой и не в последнюю очередь государственными органами образования идет рука об руку с требованием к историку вновь рассказывать достаточно красиво и наглядно и по возможности отказаться от абстрактного жаргона, который процветал в последние десятилетия»<sup>40</sup>. Эту же мысль развивает в программной статье Б. Бейлин, подчеркивая, что возратить интерес широкого читателя к истории можно лишь «посредством создания синтетических работ, нарративных по своей структуре»<sup>41</sup>.

Очевидная для самих буржуазных теоретиков социальная подоплека обращения к нарративу и побуждает их к переосмыслению природы исторического знания. Тот же Рюзен настаивает на необходимости радикального пересмотра функциональной зависимости исторического изображения от исторического исследования в плане признания приоритета рассказа (повествования) — с присущими ему эстетическими и поэтическими принципами — над историческим методом как совокупностью исследовательских процедур. В соответствии с этим, полагает ученый, теория истории должна снова, как и встарь, стать поэтикой историописания<sup>42</sup>.

Таким образом, Рюзен делает весьма примечательное разъяснение относительно того, что следует понимать под теорией в «новом нарративе». Это — не теория исторического процесса, а прежде всего сумма представлений, обосновывающих поэтическую природу историописания и соот-

<sup>38</sup> *Rüsen J.* *Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft*, S. 23.

<sup>39</sup> *Ibidem.*

<sup>40</sup> *Mommsen W. J.* *Op. cit.*, S. 61.

<sup>41</sup> *Bailyn B.* *Op. cit.*, p. 8.

<sup>42</sup> *Rüsen J.* *Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft*, S. 24, 28.

ветствующий ей способ познания истории. Следовательно, поворот к нарративу означает не отказ буржуазной исторической мысли от теоретизирования, а существенное смещение акцента в его содержании.

Идейно-теоретический смысл этого смещения хорошо виден в рассуждениях Стоуна, впервые представившего систематическое изложение причин «возрождения нарратива» на Западе. «Первой причиной современного возрождения нарратива, — утверждает он, — является широкое разочарование в экономической детерминистской модели исторического объяснения»<sup>43</sup>. Развивая это положение, ученый пишет о господстве индетерминистских представлений в современной западной историографии. «Движение к нарративу «новых историков», — с явным удовлетворением заявляет он, — отмечает конец определенной эры: конец попыток создать связанное научное объяснение перемен в прошлом. Модели исторического детерминизма. . . потерпели крах»<sup>44</sup>.

Едва ли надо пояснять, что на самом деле потерпели крушение не «модели исторического детерминизма», среди которых Стоун на первое место, разумеется, ставит марксистское понимание истории, а попытки западных теоретиков приспособить их к общим идеалистическим основам буржуазной историографии. Тем безапелляционнее отождествляют они с марксизмом вульгарно-механистические схемы исторического процесса, заявляя на этом основании о его «устарелости» и даже «интеллектуальном упадке». Однако Стоун, безусловно, прав в другом. Действительно, «возрождение нарратива» связано с усилением в современной буржуазной историографии индетерминистских и субъективистских тенденций. «Поэтика историописания» и представляет собою развернутое теоретическое обоснование субъективно-идеалистического восприятия истории, в значительной степени присущего «новому нарративу».

Наиболее последовательное выражение это восприятие нашло в получивших широкую известность на Западе трудах американского историка Х. Уайта<sup>45</sup>, в особенности в его «Метаистории», расценивающейся как одно из самых значительных произведений в области исторической теории, созданных в XX в.<sup>46</sup> Сформулированная здесь концепция исторического знания и историографического процесса является в настоящее время наиболее систематическим изложением «поэтики историописания» как нового понимания природы исторической науки, связанного с поворотом буржуазной исторической мысли к нарративу, что и побуждает нас обратиться к ее подробному рассмотрению.

Исходный пункт всех рассуждений Уайта — твердое убеждение в сугубой ненаучности истории. Обосновывая его, американский автор доказы-

<sup>43</sup> Stone L. The Past and the Present, p. 79.

<sup>44</sup> Ibid., p. 85, 91—92.

<sup>45</sup> Хайден Уайт (род. в 1928 г.) — профессор Калифорнийского университета, руководит там программой изучения «истории сознания». Начинал свою научную деятельность в 50-е годы как медиевист. С начала 60-х годов основным предметом его научных занятий стала западноевропейская историография XVIII—XIX вв. Их результаты были обобщены в фундаментальной «Метаистории» (White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe. Baltimore — London, 1973). Книга вызвала большой резонанс в западной историографии, где ее сравнивали даже с коллингуудовской «Идеей истории». В 1980 г. журнал «История и теория» провел симпозиум, посвященный обсуждению книги. Материалы его были опубликованы в специальном выпуске журнала (Metahistory: Six Critiques.— History and Theory, v. 19, 1980, № 4, Beiheft 19). Многочисленные последующие работы ученого в основном дополняют и разъясняют основные положения «Метаистории».

<sup>46</sup> Rüsen J. Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft, S. 30.

вает принципиальное отличие истории от естественных наук. Последние, пишет он, «развивались в результате достигаемых время от времени членами данного научного сообщества соглашений относительно того, что считать научной проблемой, какую форму должно иметь научное объяснение, какие данные могут считаться доказательством в рамках научного отчета о реальности. Среди историков такого рода соглашений не существует и никогда не существовало. . . История остается в состоянии концептуальной анархии, которое было характерно для естественных наук в XVI в.»<sup>47</sup> Эта анархия, считает он, заложена в самой природе истории, близкой по своим фундаментальным характеристикам не науке, а художественному творчеству. К тому же ей присуща «неискоренимая нарративность». В то время как наука по мере развития избавлялась от нарративного способа представления своих данных, для истории это невозможно<sup>48</sup>.

Соответственно этому Уайт формулирует цель собственных изысканий. «Раскрывая лингвистическую основу, на которой создается та или иная идея истории, — пишет он, — я попытаюсь представить неустранимо поэтическую природу деятельности историка»<sup>49</sup>. Присмотримся же поближе к тому, как это он делает, ибо здесь тот редкий случай, когда выдвигаемые ученым теоретические положения сразу же находят развернутое конкретно-историографическое выражение. Тем самым мы получим возможность более наглядно представить действительный смысл модных на Западе теоретических новаций, идущих в русле «возрождения нарратива».

Отметим прежде всего крайний релятивизм концепции Уайта. Исходя из убеждения о царящей в истории «концептуальной анархии», он постулирует положение о принципиальной равноценности «стратегий интерпретации», которые может применять историк, руководствуясь исключительно собственными моральными и эстетическими приоритетами, причем рационально не осознанными. Ученый выделяет несколько уровней «организации» исторического материала: хроника (расположение фактов в хронологическом порядке), история (выделение доминирующих мотивов), «сюжетопостроение», формальная аргументация, идеологическая ориентация. К сфере собственно исторической теории он относит три последних уровня. Именно на этих уровнях, по Уайту, формируется специфический для данного историка стиль мышления и соответствующая «стратегия интерпретации».

Сообразно своему представлению о поэтической природе исторического познания Уайт выделяет четыре типа «сюжетопостроения» — романтическое повествование, трагедию, комедию и сатиру. Различаются они пониманием места человека в мире. «Романтическое повествование» — «драма триумфа добра над злом, добродетели над пороком, света над тьмой». «Архетипическая тема сатиры» — видение человека «скорее узником мира, чем его хозяином». Оптимизм «романтического повествования» и безысходный пессимизм «сатиры» — два полюса, между которыми находятся «комедия», повествующая об эпизодических победах индивида при сознании невозможности конечной победы, и «трагедия», рассказывающая о гибели героя при сохранении идеи, им воплощаемой<sup>50</sup>.

Этому соответствуют четыре типа аргументации, при помощи которой

<sup>47</sup> White H. Metahistory, p. 13.

<sup>48</sup> White H. The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory. — History and Theory, v. 23, 1984, № 1, p. 1—2.

<sup>49</sup> White H. Metahistory, p. XI.

<sup>50</sup> Ibid., p. 8—9.

историк «объясняет» (многозначительные кавычки Уайта. — *Авт.*) события: «формизм», «органицизм», «механицизм», «контекстуализм», каждый из которых основывается на кардинально различающихся представлениях о том, что означает «объяснять» историю.

Под «формизмом» Уайт понимает стремление зафиксировать многообразие и уникальность исторических явлений путем их детализированной классификации (в другой своей работе он обозначает этот вариант «объяснения» более традиционным термином — «идиографизм») <sup>51</sup>. Создание такой классификации и равносильно для «формиста» «объяснению» истории. По Уайту, такого типа «формальной аргументации» придерживались Гердер, Карлейль, Нибур, Тревельян <sup>52</sup>.

«Органицизм» понимается Уайтом как «стратегия», ориентированная на выявление основного принципа функционирования данного целого, что для «органицистов» (к ним американский ученый относит Ранке, Моммзена, Зибеля, Трейчке) равносильно объяснению всего целого и его составных частей. При этом он специально оговаривается, что для «органицистов» принцип не тождествен каузальному закону — это именно принцип или идея. Поиск же каузальных законов, определяющих движение истории, является, согласно Уайту, стержнем «механицистской» стратегии. Приверженцы ее — Бокль, Токвиль, Маркс, Тэн, сводящие историческую действительность к совокупности каузальных законов <sup>53</sup>.

Наконец, «контекстуализм», по Уайту, под объяснением исторического явления понимает помещение его в контекст изучаемой эпохи и реконструкцию этого контекста <sup>54</sup> (образцом такой «стратегии» для автора «Метаистории» являются труды Буркхардта).

Таковы основные «стратегии интерпретации», существующие в истории и порождающие в ней «концептуальную анархию», препятствующую ее превращению в науку. Происходит это, как полагает Уайт, вследствие «наличия неустранимого идеологического компонента» в историческом повествовании, благодаря чему любая дискуссия между приверженцами разных «стратегий» неизбежно ведет к идеологической конфронтации <sup>55</sup>. Ибо каждой из них присуща собственная идеологическая ориентация. Уайт выделяет четыре типа этой ориентации — консерватизм, радикализм, анархизм и либерализм, каждый из которых он пытается связать с соответствующим типом «сюжетопостроения» и «формальной аргументации» <sup>56</sup>.

Идеологическая ориентация, будучи важным компонентом «стиля» историка, предупреждает Уайт, отнюдь не обуславливает выбора им «стратегии интерпретации». Выбор этот — акт иррациональный, бессознательный, одним словом, «поэтический» <sup>57</sup>. Сами же эти стратегии, и здесь мы подходим к своеобразной кульминации методологических построений Уайта, формируются в недрах языка, используемого историками, т. е. в обыденной речи, так как в отличие от естественных наук история не создала собственного теоретического языка. Отсюда и следует ключевой вывод Уайта, что «стратегии интерпретации» историков формируются

<sup>51</sup> White H. *Tropics of Discourse. Essay in Cultural Criticism*. Baltimore — London, 1978, p. 66.

<sup>52</sup> White H. *Metahistory*, p. 14.

<sup>53</sup> *Ibid.*, p. 16.

<sup>54</sup> *Ibid.*, p. 17—18.

<sup>55</sup> *Ibid.*, p. 21.

<sup>56</sup> *Ibid.*, p. 29.

<sup>57</sup> *Ibid.*, p. 30—31.

в «соответствии с типами лингвистических протоколов, которые санкционированы доминирующими тропами обыденной речи»<sup>58</sup>.

Используя одну из филологических классификаций, Уайт выделяет следующие тропы: метафора (явление характеризуется понятием по аналогии или сходству), метонимия (явление в целом характеризуется через один из его признаков), синекдоха (целое характеризуется через свое важнейшее свойство), ирония (на уровне подтекста отрицается утверждаемое буквально). Неосознанный выбор историком того или иного тропа и предопределяет, по Уайту, всю «стратегию интерпретации» в целом. Так, метафора предопределяет романтическое повествование, «формизм», анархию; метонимия — трагедию, «механицизм», радикализм; синекдоха — комедию, «органицизм», консерватизм.

Особенно большое место в построениях Уайта принадлежит «иронии». Он так характеризует ее: «Ирония как троп обеспечивает лингвистическую парадигму способа мышления, радикально самокритичного не только в отношении некоей данной характеристики окружающего мира, но и в отношении самой возможности адекватно отразить сущность вещей в языке. . . Как основа мировоззрения, ирония ставит под сомнение малейшую веру в возможность позитивных политических акций»<sup>59</sup>. Немаловажно, что сама «Метаистория», по признанию ее автора, выдержана именно «в ироническом ключе»<sup>60</sup>. На всем протяжении книги Уайт настойчиво акцентирует это обстоятельство, закономерно завершая свои методологические построения предельно релятивистским выводом о том, что «мы свободны понимать «историю» как угодно и равным образом делать из нее, что хотим»<sup>61</sup>.

Этот вывод Уайт пытается обосновать всей логикой развития европейского исторического сознания, которое, по его уверению, «на протяжении своей истории описало круг от восстания против иронического видения истории, присущего позднему Просвещению, к усвоению вновь сходного иронического видения на рубеже XX в.»<sup>62</sup>.

Концепция Уайта обнажает еще одну характерную черту «поэтики историописания» — подчеркнутое игнорирование социальной обусловленности исторического познания. Утверждая наряду с поэтической природой историописания его «лингвистическую основу», американский ученый решительно пытается вывести историю из круга социальных дисциплин и в то же время радикально переосмыслить место истории в жизни общества. Иррациональная природа творчества историка делает беспредметной саму постановку вопроса о его социальной ответственности, а вместе с этим и о связи исторической науки со своим временем и его потребностями.

Впрочем, несостоятельность этой позиции настолько очевидна, что сам Уайт, как только он переходит от теоретизирования к конкретному историографическому анализу, никак не может свести концы с концами. Не выдерживает проверки историографической практикой фундаментальный постулат американского ученого о том, что стиль историка задается определенным тропом, вследствие чего существует жесткая однозначная связь между всеми элементами бессознательно избранной им «стратегии

<sup>58</sup> Ibid., p. 428. Тропы — образное употребление слова, при котором происходит сдвиг в его семантике от прямого значения к переносному.

<sup>59</sup> Ibid., p. 38.

<sup>60</sup> Ibid., p. XII.

<sup>61</sup> Ibid., p. 433.

<sup>62</sup> Ibid., p. 432.

интерпретации». Вопреки изначальной схеме оказывается, что в трудах одного и того же историка могут сочетаться «стратегии», выдержанные в духе различных тропов. Так, труды К. Маркса, по Уайту, являются сочетанием «тропологических стратегий метонимии и синекдохи»<sup>63</sup>. К тому же, по убеждению американского историка, К. Маркс внес свой вклад в триумф «иронического» сознания в европейской исторической мысли на рубеже нашего столетия<sup>64</sup>, следовательно, есть основание полагать наличие в его произведениях и элементов «иронии». Но если в стиле историка тропы могут сочетаться сколь угодно разнообразно, то что же остается от постулата, центрального в концепции Уайта, о заданности стиля одним определенным тропом?

Главное же — оказывается несостоятельным утверждение, что выбор историком своего стиля происходит на иррациональном уровне, вне всякой связи с социальной действительностью. Рассматривая стили различных мыслителей XIX в., сам Уайт сплошь и рядом отказывается от их чисто лингвистической интерпретации, будучи вынужденным обращаться к социально-исторической мотивации творчества этих ученых. Порою даже особенности стиля того или иного историка получают у него явственное социально-историческое объяснение. Так, стиль К. Маркса выводится из его недовольства общественными отношениями своего времени и поисков социального идеала<sup>65</sup>.

Особенно поучительной в этом плане является трактовка Уайтом взглядов Токвиля. Задаваясь вопросом, почему они не получили широкого признания современников, Уайт апеллирует к европейской социальной действительности середины XIX в. Культивируемый Токвилем трагический реализм, пишет он, «изначально был слишком двусмысленным, чтобы быть принятым в век, когда двусмысленность была неприемлемой. Революции 1848 г. разрушили почву, на которой с XVIII в. расцвел либерализм. Наступившее время требовало от историков, как и в всех, выбрать позицию за или против революции и решить, читать ли историю глазами консерватора или радикала. Взгляды Токвиля. . . казались слишком пластичными, слишком амбивалентными, слишком терпимыми. . . людям, которые ощущали необходимость выбора в философии между Шопенгауэром и Спенсером, в литературе — между Золя и Бодлером, в исторической мысли — между Ранке и Марксом»<sup>66</sup>. Можно, конечно, спорить с Уайтом относительно и самой его посылки о несоответствии взглядов Токвиля «духу времени», и степени убедительности его аргументации. Несомненно лишь, что эта аргументация носит не лингвистический, а социально-политический характер, подрывающий, в сущности, основы всей уайтовской «поэтики историописания».

В силу одиозности многих своих положений уайтовская «поэтика историописания» не получила безоговорочного признания в буржуазной науке. Нередко она становится объектом критики со стороны западных авторов, подчас подмечающих весьма существенные ее пороки. Для многих из них неприемлем всеобъемлющий релятивизм Уайта, фактически обесмысливающий деятельность историка. Его концепция квалифицируется как «нигилистическая», «опасная и деструктивная», разрушающая всякие критерии истины, а тем самым и персональную ответственность

<sup>63</sup> Ibid., p. 285.

<sup>64</sup> Ibid., p. 286.

<sup>65</sup> Ibid., p. 328.

<sup>66</sup> Ibid., p. 225.

историка <sup>67</sup>. Подчеркивается, что признание постулируемой Уайтом бессмысленности истории приводит ученого к неспособности сделать правильный выбор, позволяя аплодировать диаметрально противоположным ее интерпретациям <sup>68</sup>.

Представляется возможным говорить о существовании в рамках поворота буржуазной историографии к нарративу более реалистической позиции, не отрицающей научности истории. Такая позиция характерна, в частности, для аналитической философии истории, рассматривающей нарратив как специфический познавательный инструмент, присущий гуманитарным наукам <sup>69</sup>. Развивая эту точку зрения, профессор антропологии Вирджинского университета В. Тернер определяет нарратив как «понятие, характеризующее рефлексивную деятельность, ориентированную на то, чтобы «знать» прошлые события и понимать их значение, смысл» <sup>70</sup>.

Однако, во-первых, эта позиция является непоследовательной, внутренне противоречивой. Даже Тернер, признающий номотетический характер гуманитарного знания и указывающий в связи с этим на подчиненное значение в исследовательской практике детализированных описаний и прочих идиографических процедур <sup>71</sup>, отдает щедрую дань субъективистским представлениям. Вспомним многозначительные кавычки вокруг слова «знать» в его определении нарратива. О том, что они не случайны, свидетельствует трактовка Тернером нарратива как «главного инструмента связывания «ценностей» и «целей» в дильтеевском смысле этих понятий, мотивирующих человеческое поведение в ситуационные структуры «смысла» <sup>72</sup>. Тем самым смысл в истории интерпретируется как категория субъективная. А это во многом обесценивает рассуждения американского ученого о значении нарратива как познавательного инструмента для получения объективного знания.

Существенно ограничиваются познавательные возможности нарратива. Так, Л. Минк, признавая, что «историческая действительность сама имеет нарративную форму, которую историк не изобретает, а открывает или пытается открыть», вместе с тем сводит задачу исторической науки лишь к ее описанию. «Занятие историка,— продолжает он,— открыть эту нерассказанную историю или часть ее и пересказать ее, пусть даже в ограниченном или отредактированном виде» <sup>73</sup>.

Во-вторых, и это главное, именно позиция Уайта является знаменательной для новейших идейно-методологических поисков буржуазной историко-теоретической мысли. Не случайно его «Метаистория» оценивается как «поворотный пункт в современной дискуссии об основах исторической науки, поскольку здесь взгляд на нарративную структуру исторического познания был развит в теорию историописания, которая объясняет историческое познание как конкретную, лингвистическую структуру» <sup>74</sup>. Действительно, при всех расхождениях во взглядах уча-

<sup>67</sup> Golob E. The Irony of Nihilism.— In: *Metahistory, Six Critiques...*, p. 65; ср.: Mink L. O. Everyman His or Her Own Annalist.— In: *Narrative*. Chicago — London, 1981, p. 234.

<sup>68</sup> Michaels W. B. Is there a Politics of Interpretation? — In: *Politics of Interpretation*, p. 399—441.

<sup>69</sup> Mink L. O. Narrative Form as a Cognitive Instrument.— In: *The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding*. Madison (Wisconsin), 1978.

<sup>70</sup> Turner V. Social Dramas and Stories about them.— In: *On Narrative*, p. 163.

<sup>71</sup> Ibid., p. 139.

<sup>72</sup> Ibid., p. 163.

<sup>73</sup> Mink L. O. Narrative Form as a Cognitive Instrument, p. 134.

<sup>74</sup> Rüsen J. *Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft...*, S. 31.

стников этой дискуссии она вращается вокруг той проблематики, которая поставлена Уайтом <sup>75</sup>.

Даже ученые, которые, по-видимому, далеки от уайтовской концепции исторического знания, нередко придерживаются, как мы могли убедиться на примере Стоуна, сходных методологических установок. А когда Стоун в борьбе с «механистическим детерминизмом» указывает на «по крайней мере три универсальных ограничения познавательной способности человека, влияющие на все дисциплины, с которыми имеет дело человек»: сознание того, что в основе всех усилий осмыслить социальную действительность, какими бы претенциозными методологиями и компьютерными системами они ни подкреплялись, все-таки неизменно присутствует элемент искусства; ограничения, налагаемые на результаты исторического исследования его формой; метафорический характер многих понятий, используемых гуманитариями <sup>76</sup>, — он даже переходит на язык, близкий уайтовскому.

Особенно важно подчеркнуть, что рассматриваемая тенденция не замыкается уровнем теоретических рассуждений. В определенной мере она проявляется и в конкретно-исторической практике приверженцев «нового нарратива». Свидетельство тому — бурно прогрессирующая на Западе так называемая история ментальности (от французского *mentalité* — умонастроения, чувства, психология). Возникшая в русле «новой научной истории», она в настоящее время все заметнее эволюционирует к нарративной манере изображения истории. Более того, как замечает Стоун, «новый интерес к ментальности стимулировал возвращение к старым способам писания истории» <sup>77</sup>. Вот почему представляется правомерным рассматривать — во всяком случае значительную часть — исследования по истории ментальности как органическую часть «новой нарративной истории».

Хотя история ментальности имеет своих предшественников, среди которых, в частности, называются такие имена, как Й. Хейзинга, М. Блок, Л. Февр, Ж. Лефевр, только в последние десятилетия она стала складываться в особую дисциплину, изучающую массовую культуру, широкие срезы социальной психологии в их связи с различными сферами жизнедеятельности людей и использующую специфические источники и методы, обогащающие наше знание прошлого. Несомненно плодотворными являются конкретно-исторические исследования ментальности, предпринимаемые французскими учеными, добившимися наиболее значительных результатов в этой области <sup>78</sup>. Наконец, следует отметить, что ментальность как предмет исторического изучения привлекает внимание прогрессивных французских историков. Одним из известных специалистов по этой проблематике является директор Института истории Французской революции М. Вовель, намечающий пути ее марксистского исследования <sup>79</sup>.

Однако ведущее положение принадлежит ученым, находящимся на

<sup>75</sup> Показательно в этом отношении обсуждение проблемы нарратива на симпозиуме, проведенном в Чикагском университете в 1981 г. (см. цитированный сборник «Politics of Interpretation»).

<sup>76</sup> Stone L. Op. cit., p. 42; ср. Hudson L. The Cult of the Fact: A Psychologist's Autobiographical Critique of His Discipline. New York, 1972, p. 155.

<sup>77</sup> Stone L. Op. cit., p. 90.

<sup>78</sup> См. Гуревич А. Я. «Новая историческая наука» во Франции: достижения и трудности (критические заметки медиевиста). — В кн.: История и историки. Историографический ежегодник. 1981. М., 1985, с. 116—123.

<sup>79</sup> См. Vovelle M. Idéologies et mentalités. Paris, 1982.

принципиально иных идейно-теоретических позициях. Прежде всего подчеркнем их воинствующий отказ от осмысления исторического процесса на концептуально-теоретическом уровне. Даже в сочувственно относящейся к французской истории ментальности литературе усматриваются такие ее серьезные недостатки, как «отчужденность от теории», «решительное отрицание широких генерализаций»<sup>80</sup>. Обосновывая эту отчужденность, один из влиятельных представителей дисциплины Ж. Дюби утверждает: «Так как жизнь, которую я наблюдаю, кажется с каждой теорией, чьим пленником я могу быть, парализующей и убивающей фантазию, я делаю все, чтобы освободиться от ее влияния»<sup>81</sup>.

Это «освобождение» от теории, в сущности, направлено против материалистического понимания истории. Отвергается наличие каузальной связи между материальными условиями жизни людей и их социальным поведением. При этом делается акцент на неполитическом, бессознательном в ущерб изучению сознательного социально-политического поведения людей. Классовый смысл такого подхода особенно рельефно проявляется в оценке крупнейших революционных движений в истории, таких, например, как Великая французская революция. В прямой полемике с марксистской интерпретацией причин этой революции утверждается, что классовые столкновения при старом порядке были не столько следствием антагонизма экономических интересов, сколько выражением относительно независимых от экономических факторов форм группового сознания<sup>82</sup>. Так история ментальности вносит свой «вклад» в совершающееся в современной буржуазной историографии «переосмысление» Французской буржуазной революции конца XVIII в., классовый смысл которого глубоко раскрыт советскими учеными<sup>83</sup>.

Как видим, поворот буржуазной исторической мысли к нарративу не только не изменил, но в ряде случаев даже усилил присущую ей консервативную идейно-политическую тенденцию. Иными средствами буржуазная наука пытается решить все ту же стратегическую задачу — укрепить духовные основы буржуазного общества. Кризис буржуазного историзма выступает, таким образом, как неотъемлемая часть кризиса буржуазного общественного сознания в целом.

Здесь, по-видимому, и следует искать глубинный источник перманентных колебаний, присущих развитию буржуазной исторической мысли в XX в. Это развитие может быть изображено сложной зигзагообразной линией, отражающей ее постоянные метания то в сторону неокантианского эмпиризма, то в направлении неопозитивистского структурализма. При этом сказывается такая характерная черта буржуазного мышления периода кризиса, как метафизичность, возведение «односторонности в теорию»<sup>84</sup>.

<sup>80</sup> *Schulze H.* Mentalitätsgeschichte — Chancen und Grenzen eines Paradigmas der französischen Geschichtswissenschaft. — *Geschichte in Wissenschaft und Unterricht*, 1985, № 4.

<sup>81</sup> *Duby G.* Nachwort. — *Duby G., Landreau G.* Geschichte und Geschichtswissenschaft. Frankfurt a. M., 1982, S. 184.

<sup>82</sup> *Furet F.* Le Catéchisme de la Révolution française. — *Annales. ESC*, v. 26, 1971, p. 255 ff.

<sup>83</sup> См., в особенности: *Адо А. В.* Современные споры о Великой французской революции (историографический обзор). — В кн.: *Вопросы методологии и истории исторической науки*. М., 1977; *его же.* Буржуазная ревизия истории Французской революции. — В кн.: *Социальные движения и борьба идей. Проблемы истории и историографии*. М., 1982.

<sup>84</sup> *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 20, с. 66.

Эта черта проявилась и в новейших теоретических поисках буржуазной историографии. Несмотря на все оговорки относительно аналитического характера «нового нарратива», действительно воспринявшего определенные элементы «новой научной истории» (это относится даже к Уайту), односторонность по-прежнему возводится в теорию. Нарративная форма противопоставляется теоретическому объяснению. Л. Минк видит в них даже соперников. Признавая нарратив инструментом научного познания, он в то же время утверждает: «Нарративная форма в том виде, в каком она проявляется в истории и литературе, особенно важна как соперник теоретического объяснения»<sup>85</sup>. О том, насколько такая позиция является на Западе распространенной, свидетельствует доклад В. Моммзена на XVI Международном конгрессе исторических наук. Говоря о предстоявшем обсуждении в Комиссии по истории исторической науки темы «Нарративная и структурная история: прошлое, настоящее и будущее», он подчеркивал: «Его лейтмотивом будет проблема: нарратив против структурного изображения истории на протяжении истории историографии начиная с античности»<sup>86</sup>.

Итак, сформулировав действительно важную проблему, буржуазная наука не сумела ее удовлетворительно решить. Поэтому с учетом зигзагообразного характера ее развития правомерно поставить вопрос, насколько современный взрыв интереса к нарративу на Западе является длительным и устойчивым. Уже сегодня можно встретить отдельные симптомы разочарования в познавательных возможностях нарратива, предвещающие, по-видимому, очередной поворот буржуазной исторической мысли.

Известно, что потребность в историческом синтезе была одним из наиболее сильных побудительных мотивов обращения к нарративу как средству реконструкции связной картины прошлого. Так, видный американский клиометрист Т. Рабб писал, что одним из магистральных направлений поиска исторического синтеза является «стремление раскрыть цель, смысл, значение или лежащую в основе всего истину». Он отмечал «распространяющееся повсюду беспокойство по поводу того, что индивид оказался исключенным из конечных целей приложения усилий историков», и, соответственно, сознание «необходимости вернуться к пониманию форм, в которых выражалось мироощущение людей, как и модели их поведения». Т. Рабб подчеркивал настоятельную потребность создания такой истории-повествования, в центре которой стоял бы человек. «И это должна быть действительная история, — заключал он, — а сухой и непривлекательный кусочек анализа»<sup>87</sup>.

В то же время Рабб, однако, вынужден признать, что «возрождение нарратива» ведет к усилению релятивистских тенденций в современной западной историографии. Он задается отнюдь не праздным вопросом, не будет ли обращение к нарративу как потенциальному базису для исторического синтеза означать возвращение к беккеровскому принципу «каждый человек является собственным историком»<sup>88</sup>.

Подобные опасения явственно прозвучали на проведенном в 1979 г.

<sup>85</sup> *Mink L. O. Narrative Form as a Cognitive Instrument*, p. 132.

<sup>86</sup> *Mommsen W. J. Narrative History and Structural History: Past, Present, Perspectives*. — In: Comité International des sciences historiques. XVI<sup>e</sup> Congrès International des sciences historiques. Rapports. Stuttgart, 1985, p. 839.

<sup>87</sup> *Rabb T. K. Coherence, Synthesis and Quality in History*. — *The Journal of Interdiscipline History*, v. XII, 1981, № 2, p. 318.

<sup>88</sup> *Ibid.*, p. 325.

в Чикагском университете симпозиуме под показательным названием «Нарратив: иллюзия последовательности», целый ряд участников которого выразили сомнение в возможностях нарратива как научного способа историописания. Обобщая эти сомнения, автор предисловия к опубликованному сборнику материалов симпозиума У. Митчелл счел даже возможным «говорить о нарративе в духе высказываний Маркса о религии — как об опиуме, мистифицирующем наше понимание путем ложного чувства связанности, иллюзии последовательности»<sup>89</sup>.

Таким образом, можно констатировать наличие в западной историко-теоретической литературе последних лет определенной антисциентистской тенденции, выражением которой стала актуализация проблематики нарратива. Проявления ее различны: от мягкого признания издержек сциентизации историописания, желания найти более приемлемый, чем ныне, баланс между «анализом» и «повествованием» авторами, которые в целом сциентизацию принимают, до суждений об исходной «ненаучности» исторического познания как такового.

Характерная черта современного «антисциентистского» умонастроения — стремление обособить «культурную» историю. Как реакция на попытки «сциентистских» направлений растворить «культуру» в «некультурном», это стремление вполне понятно. Но как методологическая программа — и о том ясно говорит пример «Метаистории» Уайта — эта попытка отделить тексты от социально-исторического контекста ведет в тупик. Декларируемое в данном случае желание избавиться от схематизма не реализуется. «Лингвистическая парадигма», предложенная Уайтом, — тот же схематизм, то же искажение «живой» истории.

Современное «возрождение нарратива» во многом связано с тем, что по мере своей сциентизации история становилась знанием все более замкнутым. Подчеркнем, что дело отнюдь не в отсутствии у публики интереса к истории, а в известной неспособности профессиональной историографии этот интерес удовлетворить. Обратная сторона данного процесса — распространение «псевдоистории», мифологических представлений об историческом процессе, основанных на разного рода предрассудках, зачастую далеко не безобидных.

Сказанное не означает, что в ближайшем будущем следует ожидать в западной исторической мысли «возрождения нарратива» в прямом смысле слова. В любом историческом тексте «нарратив» и «концепция» столь переплетены, а подчас и тождественны друг другу, что противопоставлять их не имеет особого смысла. Представляется далеко не случайным, что в рамках сциентистского направления современной западной историографии осознается необходимость диалога между представителями «новой научной истории» и поборниками «нового нарратива».

Как показывает проведенный анализ, характерная черта антисциентистского умонастроения — своеобразный его синкретизм. За антисциентистскими декларациями нередко проступают вполне сциентистские программы. Это не случайно. В советской литературе уже отмечалось, что синкретизм, в частности стремление преодолеть дилемму сциентизм — антисциентизм, является характерной чертой современного буржуазного общественного сознания вообще<sup>90</sup>. Это суждение целиком приложимо и к современному состоянию западной исторической мысли. Впрочем,

<sup>89</sup> On Narrative, p. VIII.

<sup>90</sup> См. Автономова Н. С. В поисках новой рациональности. Опыт типологической характеристики некоторых тенденций современного буржуазного сознания. — Вопросы философии, 1981, № 3, с. 145—156.

зама природа исторического познания такова, что рефлексия над его основаниями порождала и будет порождать эти дилеммы. Не случайно европейская историческая мысль нового времени развивалась как наука. Но верно и то, что история — наука специфическая. Проблема же осознания этой специфики продолжает оставаться актуальной, причем не только для буржуазной, но и для марксистско-ленинской историографии.

Независимо от того, насколько долговременный характер носит поворот современной буржуазной исторической мысли к нарративу, он, как мы могли убедиться, представляет собой крупномасштабное явление, заслуживающее пристального внимания советских исследователей. В ближайшем критическом рассмотрении, в частности, нуждается конкретная историографическая практика приверженцев «нового нарратива». Только таким образом можно будет более детально определить действительное значение этой новейшей тенденции в развитии буржуазной историографии.